

К. С. ПЕТРОВ-ВОДКИН

САМАРКАНДИЯ

Из путевых набросков 1921 г.

« А К В И Л О Н »

ПЕТЕРБУРГ

1923





Долгое время по приезде в Самарканд впечатления от окружающего были сумбурны.

Впечатления, накопившиеся за дорогу, еще не изгладились: Самарская холера, голод, полувыхсохшая Волга, безлюдная, как никогда; остатки войны Оренбургского фронта; повышающееся действие пустыни, с неожиданным Аральским морем. Пустыня, киргизы, юрты; Ташкент с былым величием его бульваров; Салар-река, купанье в которой можно сравнить только с Арагвой, и наконец Самарканд.

Туземный город с копошащимся базаром и лавочками, несвязность памятников с этой жизнью — всё это до тех пор не укладывалось в одно стройное целое, пока моя белая комната, зияющая дырами в потолок и на улицу, не начала заполняться этюдами и мои ручные мышата, разгуливая между ног моих и мольберта, почувствовали себя хозяевами винограда и орехов, которыми мы лакомились вместе. Комната была над каузом мечети.

Утро начиналось купаньем из кауза или, пересекая узенькие проулки, спускался я к Серебряному роднику — лечебному роднику сартов, свежесть которого на добрую половину дня делала меня бодрым.

Раннее утро после такого купанья.

В пекарне о гончарное брюхо печки шлепались узорные хлеба — «лапошки». Чайхана дымил самоваром. У стен Регистана чернело и зеленело виноградом, жужжали люди.

Площадь Регистана меня мало тронула, очень знакомыми показались мне Улук-Бек и Шир-Дор. Особенно покачнувшиеся минареты на привязях, имитируя неустойчивость Пизанской башни, внушали мне скорее сожаление, чем удовольствие.

Но, когда эта официальная архитектура в один из праздников наполнилась тысячами правоверных, — цветные ткани и ритмические волны молящихся сделали площадь неузнаваемой: заговорила геометрическая майолика отвесов стен, углубились ниши и своды — на массовые действия рассчитанная, площадь себя оправдала.

В большей мере с площадью Регистана связаны для меня впечатления фруктовые.

На протяжении лета меняются натюрморты. Урюк и абрикосы, нежные персики, перебиваемые вишнями.

По-немногу тут и там вспыхнут первые гроздья винограда. Впоследствии виноград засияет всё; самых разных нюансов и форм, он царит долго и настойчиво, пока не ворвутся в него кругляши дыней и арбузов и, наконец, заключительный аккорд золотых винных ягод заполнит лотки и корзины. В лавочках киш-мишовый изюм разыграется янтарею к этому времени. Среди всего этого пшеничный цвет узорных, хрустящих по наколам, лепешек.

Биби-Ханым приналег на меня своими бегемотскими глыбами, — его страшный силуэт я оценил лишь потом из вне города: как члены неулегшегося в долину чудовища, торчат они над Самаркандом.

Гробница Тимура веет надуманным холодком дворцового зодчества.

Вот Шах-Зинда та, сразу, как только вынырнули ее купола в про-
резах священной рощи — она стала моей любимицей. Шах-Зиндой я понял человеческое творчество Самаркандии, как высотами Чапан-Аты понял работу Тянь-Шаньских ледников и Заревшана, источивших котловину междугория и сбросивших в дыру пыли гордыню Биби-Ханыма.





Не обращающий на себя особого внимания портал Абдул-Азиса вводит в сказку лабиринта Шах-Зинды.

Сотни ступеней поднимают к гробнице Хусам-Ибн-Аббаса, к таинственному колодцу, на дне которого находится чудесный город великолепнее Самарканда, где сад подобный оживленной персидской миниатюре, в котором и доселе живет в ожидании вселенской победы Ислама Хусам-Зинда, двоюродный брат Магомета. Зброшенный борьбою за коран с песков Аравии к Зарешану, здесь и погиб он под наплывом монголов.

От Абдул-Азиса до Шейх-Ахмета — Мистика, стеной которого кончается мавзолей, разворачивается картина майолики Востока.

Первое ударное пятно в изумруде, перебиваемом глухим ультра-марином мавзолеев Туркан-Аки и Бик-Аки, образующих коридор рефлектирующих друг на друга цветистостей. Переливы цвета в тончайших узорах орнаментики, кончающихся сталактитами, спорят с вечерним небом и не сдаютс я небу чистотой и звучностью гаммы.

За Туркан-Акой остатки мавзолея, в котором начинаются желтые оттенки с бирюзой и синим.

Дальше пустынный лабиринт, замкнутый молчаливыми стенами до дерева Шах-Зинды, распластавшегося над сводами гробницы, прорывшего корнями и стену, и грунт.

Рассказывают: спасаясь бегством после окончательного поражения, Хусам-Ибн-Аббас жестом отчаяния втыкает рукоятку нагайки в землю —

рукоятка пустила корни и разрослась в дерево над могилою своего владельца... Всеведущий самаркандиолог Вяткин сам удивлен порою этого дерева, не встречаемого в Самаркандии.

Отсюда заключительная цветовая поэма. Здесь ясный ультрамарин, в нем разыгрались до полной звучности золотые желтые и зелено-бархатные вариации. Их пронизывает скромными жилками откровение Востока — бирюза.

Эти солнечные стихии, втиснутые в непоколебимые узоры и линии, переплетаются вширь и ввысь.

Здесь магометанки юркают в темные своды гробницы.

Здесь, развалившийся на подушках, угощает нас зеленым чаем Мулла-Лисица. В нише на цыновке татарин Галей, многознающий Галей из Казани. Задняя стена Ахмета-Мистика китайской рельефной майоликой заканчивает лабиринт. Налево лесенка в низкую дверь наружу на кладбище Афросиаба.

Здесь начало другой Самаркандии: снега Тянь-Шаня, высоты Чапан-Аты, хребет Агалыка видны отсюда.

Любил я в неурочное время притти на Шах-Зинду. Галей спал. Друг Галей, он так просто очеловечивал Аллаха. Он имел на то право, одиннадцать лет и долгих зим с ревматическими сквозняками и лихорадками Зинды изучал он коран и рычание внутренностями во славу Единого. И был Галей неузнаваем в кануны пятниц на шинтских действиях — он растворялся в низах животной стихии, — это была сфера до дремлющего растения, до спящего минерала. В этом было нечто муреное и Галей многого не говорил из того, что он знал...

Небо загоралось звездами. У гробницы Зинды слабо светились верхние окна. В ковре утопала босая нога.

Запоздалая мышь зашуршит листьями корана.

Я спускаюсь в подземную молельню, где жуть времени рассказывает об ушедших, идущих и сменяемых поколениях...

Древние люди умели сосредоточиваться над вещами и строить из них любые формы.